

8496

Г71

ГОРЬКОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА



МАКСИМ ГОРЬКИЙ
ЗАЗУБРИНА

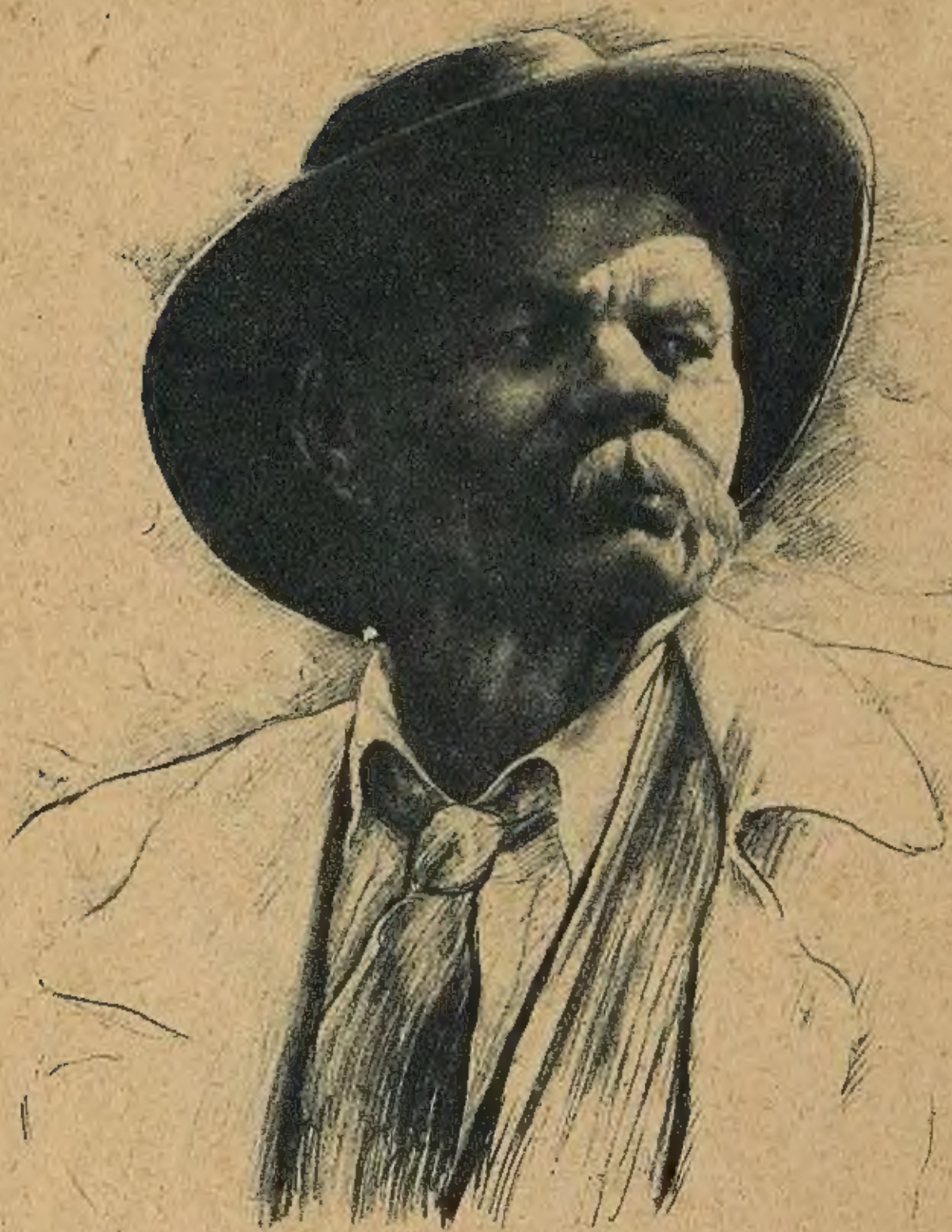
ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ 1937

卷之四

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

[illegible]





М. ГОРЬКИЙ.

С портрета работы И. БРОДСКОГО.

8496
771
М. ГОРЬКИЙ

ЗАЗУБРИНА

**Рисунки
Д. ШМАРИНОВА**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОМУНИСТИЧЕСКОГО
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1987 ЛЕНИНГРАД**

Н

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАЗУБРИНА	5
ЗРИТЕЛИ	17

679204 КХ. ред. 04,

Российская государственная
детская библиотека

Институт литературы
и языка
им. М. Горького

~~34-89157-4~~

ЗАЗУБРИНА

..Круглое окно моей камеры выходило на тюремный двор. Оно было очень высоко от пола, но, приставив к стене стол и взлезая на него, я мог видеть все, что делалось на дворе. Над окном, под навесом крыши, голуби устроили себе гнездо, и когда я, бывало, смотрел из окна вниз на двор, они ворковали над моей головой.

У меня было достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с населением тюрьмы, и я знал, что самый веселый человек среди ее угрюмого населения назывался — Зазубрина.

Это коренастый и толстый малый; с красным лицом и высоким лбом, из-под которого всегда оживленно сверкали большие светлые глаза.

Шапку свою он носил на затылке, уши торчали на его бритой голове как-то смешно, тесемки ворота рубахи он никогда не завязывал, куртку не застегивал, и каждое движение его мышц давало понять в нем душу, не способную к унынию и озлоблению

Всегда хохотавший, подвижной и шумный, он был кумиром тюрьмы; его постоянно окружала толпа серых товарищей, он смешил и развлекал ее разными курьезными выходками, скрашивая своим искренним весельем тусклую, скучную жизнь тюрьмы.

Однажды он явился из камеры на прогулку с тремя крысами, хитро запряженными в бечевки. Зазубрина бежал за ними по двору, крича, что он едет на тройке; крысы, обезумев от его криков, метались во все стороны, а арестанты-зрители хохотали, как дети, глядя на толстого человека и его тройку.

Он, очевидно, считал себя существующим исключительно для увеселения людей и, чтоб достичь этого, не брезговал ничем. Иногда его изобретательность принимала жестокие формы; так, например, однажды он приклеил чем-то к стене волосы мальчика-арестанта, дремавшего, сидя на земле у этой стены, и потом, когда волосы присохли, внезапно разбудил его. Мальчик быстро вскочил на ноги и, схватившись тонкими и худыми руками за голову, с плачем упал на землю. Арестанты хохотали, Зазубрина был доволен. После, — я видел это из окна, — он приласкал мальчика, оставившего на стене порядочный клочок своих волос...

Кроме Зазубрины, в тюрьме был еще один фаворит — рыжий и толстый котенок, маленькое, избалованное всеми, игривое животное. Выходя на прогулку, арестанты каждый раз отыскивали его где-то и подолгу возились с ним, передавая его с рук на руки, бегая по двору за ним и позволяя ему царапать их руки и рожи, оживленные этой игрой с баловнем.

Когда на сцену являлся котенок, он отвлекал внимание от Зазубрины, последний не мог быть доволен этим предпочтением. Зазубрина был в душе артист и — как артист — непомерно талантливо самолюбив. Когда его публика



Котенок шел по двору не торопясь,
грациозно поднимая лапки...

увлекалась котенком, он оставался один, садился на дворе где-нибудь в уголке и оттуда следил за товарищами, забывавшими его в эти минуты. А я из своего окна следил за ним и чувствовал все то, чем полна была душа его в эти моменты. Мне казалось неизбежным, что Зазубрина убьет котенка при первом же удобном случае, и мне было жалко веселого арестанта. Стремление человека быть центром общего внимания людей — пагубно для него, ибо ничто не умерщвляет душу так быстро, как жажда нравиться людям.

Когда сидишь в тюрьме, — даже жизнь грибков плесени на ее стенах кажется интересной; понятно поэтому то внимание, с которым я следил из окна за маленькой драмой внизу, за ревностью человека к котенку, и понятно то нетерпение, с каким я ждал развязки. Она наступила.

Однажды в яркий солнечный день, когда арестанты высыпали из камер во двор, Зазубрина увидал в углу двора ведро зеленой краски, оставленное малярами, красившими крышу тюрьмы. Он подошел к нему, подумал и, окунув палец в краску, выкрасил себе усы в зеленый цвет. Эти зеленые усы на его красной роже возбудили общий хохот. Какой-то подросток захотел воспользоваться идеей Зазубрины и тоже стал было раскрашивать себе верхнюю губу, но Зазубрина, обмакнув руку в ведро, ловко смазал ему всю физиономию. Подросток фыркал и мотал головой, Зазубрина приплясывал вокруг него, а публика хохотала, поощряя своего забавника одобрительными возгласами.

Именно в этот момент на дворе явился рыжий котенок. Он шел по двору не торопясь, грациозно поднимая лапки, поводил поднятым кверху хвостом и нимало, очевидно, не боялся попасть под ноги толпы, бесновавшейся вокруг Зазубрины и окрашенного им подростка, усиленно

растиравшего по лицу ладонями липкую смесь масла и медянки.

— Братцы! — воскликнул кто-то. — Мишка пришел!

— А! плутишка-Мишка!

— Рыжий! Кисанька!

Котенка схватили, и он переходил с рук на руки, всеми ласкаемый.

— Ишь, наелся! Брюхо-то какое толстое!

— Ведь как он растет быстро!

— Царапается, чертенок!

— Пусти его! Пущай сам прыгает...

— Ну, я подставляю спину... Прыгай, Мишка!

Около Зазубрины было пусто. Он стоял один, стирая пальцами краску с усов, и поглядывал на котенка, прыгавшего по плечам и спинам арестантов. Это всех очень забавляло, смех звучал непрерывно.

— Братцы! давайте выкрасим кота! — раздался голос Зазубрины. Он так звучал, точно Зазубрина, предлагая эту забаву, вместе с тем и просил согласиться на нее.

Толпа арестантов зашумела.

— Д'ыть, он с того подохнет! — заявил кто-то.

— С краски-то? Ска-азал!

— Валяй, Зазубрина! Крась живо!

Широкоплечий малый, с огненно-рыжей бородой, воскликнул одушевленно:

— И придумал же, сатана, этакую штуку!

Зазубрина уже держал котенка в руках и шел с ним к ведру с краской.

— По-осмотрите, братцы, во-от... —
пел Зазубрина:

— Красится, рыжий кот
В зеленую краску:
Д'воспляшемте пляску!

Грянул взрыв хохота, и, поджимая бока, арестанты раз-

дались, — мне видно было, как Зазубрина, держа котенка за хвост, окунул его в ведро и, приплясывая, пел:

— Постой, не мяучь,
Отца крестного не мучь!

Хохот разгорался. Кто-то тонким голосом визжал:

— О-ой-й! Ой, Июда косопузая!

— А, ба-атюшки! — стонал другой.

Захлебывались смехом, задыхались от него; он кривил тела этих людей, сгибал их, сотрясал и грохотал в воздухе — могучий, беззаботный, все возрастая и доходя почти до истерики. Из окон женского корпуса смотрели на двор улыбающиеся лица в белых платочках. Надзиратель, прижавшись спиной к стене, выпятил свой толстый живот и, поддерживая его руками, пускал из себя залпами густой, басовитый, душивший его хохот.

Смех разбросал людей во все стороны около ведра. Выкидывая ногами удивительные штуки, ходил в присядку Зазубрина, подпевая себе:

— Ай жись-то весела!
Д'кошка серая жила,
А сын ее, рыжий кот,
Нынче зёлено живет!

— Бу-удит, чорт те подери! — стоная, воскликнул огненно-рыжий бородач.

Но Зазубрина был в ударе. Вокруг него гремел безумный смех серых людей, и Зазубрина знал, что это он именно заставляет так смеяться. В каждом его жесте, в каждой гримасе его подвижного шутовского лица ясно проглядывало это сознание, и все его тело подергивалось от наслаждения торжеством.

Он держал котенка за голову и, смахивая с его шерсти избыток краски, в экстазе артиста, сознающего свою победу над толпой, не уставая, танцевал, припевая:



Грянул взрыв хохота...

— Родненькие братцы,
Поглядите в святцы;
Коту имя надо дать,
Д'уж и как нам его звать?

Все смеялось вокруг обуянной безумным весельем толпы арестантов — смеялось солнце на стеклах окон с железными решетками, улыбалось синее небо над двором тюрьмы, и даже ее старые, грязные стены как будто улыбались улыбкой существ, которые должны подавлять в себе веселье, как бы оно ни бушевало в них. Все вокруг переродилось, сбросило с себя скучный серый тон, наводивший уныние, ожило, пропитанное этим очищающим смехом, который, как солнце, даже и грязь заставляет быть более приличной.

Положив зеленого котенка на траву, островки которой, пробиваясь между камнями, пестрили тюремный двор, Зазубрина, возбужденный, задышавшийся и потный, все исполнял свой танец.

Но смех уже гас. Его было чрезмерно много, и он утомил людей. Кое-кто еще истерически взвизгивал, некоторые продолжали хохотать, но уже с паузами... Наконец, явились моменты, когда все молчали, кроме напевавшего плясовую Зазубрины и котенка, который тихо и жалобно мяукал, ползая по траве. Он почти не отличался от нее цветом и — должно быть, краска ослепила его, связала его движения — большеголовый, склизкий, он бессмысленно ползал на дрожащих лапках, останавливался, точно приклеиваясь к траве, и все мяукал...

— Погляди, народ крещеный!
Ищет места кот зеленый,
Бывший рыжий Мишка-кот
Себе места не найдет! —

комментировал Зазубрина движения котенка.

— Ищъ ты, собака, ловко как! — сказал рыжий детина.

Публика смотрела на своего артиста пресыщенными глазами.

Мяукаить! — заявил подросток-арестант, кивая головой на котенка, и посмотрел на товарищей. Они, наблюдая за котенком, молчали.

— Что же, он на всю жизнь зеленым останется? — спросил подросток.

— А сколько ему жизни? — заговорил седой и высокий арестант, садясь на корточки около Мишки. — Вот он подсохнет на солнце, шерсть-то склеится у него, он и сдохнет...

А котенок раздирающе мяукал, вызывая реакцию в настроении арестантов.

— Сдохнет? — спросил подросток. — А ежели бы вымыть его?

Никто не отвечал ему. Маленький зеленый комочек возился у ног этих грубых людей и был жалок в своей беспомощности.

— Ф-фу! упарился я! — воскликнул Зазубрина, бросаясь на землю. На него не обратили внимания.

Подросток подвинулся к котенку и взял его в руки, но тотчас же положил на траву, заявив:

— Горячий весь...

Потом он осмотрел товарищей и жалобно проговорил:

— Вот-те и Мишка! И не будет у нас Мишки-то! Пошто убили животную? Тоже...

— Ну, чай, поправится, — сказал рыжий. Зеленое безобразное существо все ползало по траве, двадцать пар глаз следили за ним, и уже ни на одном лице не было и тени улыбки. Все были угрюмы, молчали — и все стали так же жалки, как этот котенок, точно он сообщил им свое страдание, и они почувствовали его боль.

— Оправится! — усмехнулся подросток, возвышая го-

лос. — Тоже... Был Мишка... любили его все... За што мучаете? Убить бы, что ли...

— А кто всё? — злобно крикнул рыжий арестант. — Вон он, дьяволовзатейник!

— Ну, — сказал Зазубрина примиряюще, — чай, все вместе решились!

И он съёжился, точно от холода.

— Все вместе! — передразнил его подросток. — Тоже! Ты один виноват... да!

— А ты, теленок, не мычи, — миролюбиво посоветовал Зазубрина.

Седой старик взял котенка на руки и, тщательно осмотрев его, посоветовал:

— Ежели его в керосине искупать, смоемся краска!

— А по-моему, взять его за хвост и через стенку кинуть, — сказал Зазубрина и, усмехаясь, добавил: — Самое простое дело!

— Что-о? — взревел рыжий. — А ежели я тебя самого этак-то? Хочешь?

— Дьявол! — вскричал подросток и, выхватив котенка из рук старика, бросился куда-то. Старик и еще несколько человек пошли за ним.

Тогда Зазубрина остался один в кругу людей, смотревших на него злыми и угрюмыми глазами. Они как бы ждали от него чего-то.

— Ведь я же не один, братцы! — жалобно сказал Зазубрина.

— Молчи! — крикнул рыжий, оглядывая двор, — не один! А кто еще?

— Да ведь все! — звонко вырвалось у потешника.

— У, собака!

Рыжий ткнул его кулаком в зубы. Артист отшатнулся назад, но там его встретил подзатыльник.

— Братцы!.. — взмолился он тоскливо. Но его братцы

видели, что двое надзирателей далеко от них, и, обступив своего фаворита тесной толпой, несколькими ударами сбили его с ног. Издали их тесную группу можно было принять за компанию, которая оживленно беседовала.

Окруженный и скрытый ими, Зазубрина лежал у их ног.

Раздавались изредка глухие звуки: били ногами по ребрам Зазубрины, били не торопясь, без озлобления, выжидая, когда, извиваясь ужом, человек откроет удару ноги какое-нибудь особенно удобное место.

Минуты три продолжалось это. Вдруг раздался голос надзирателя:

— Эй, вы, черти! Знай край, да не падай!

Арестанты прекратили истязание не вдруг. Один по одному расходились они от Зазубрины, и каждый, уходя, прощался с ним пинком ноги.

Когда же они разошлись, он остался лежать на земле. Лежал он грудью вниз, плечи у него дрожали — должно быть, плакал — он все кашлял и отхаркивался. Потом он осторожно, точно боясь рассыпаться, начал подниматься с земли, уперся левой рукой в нее, потом подогнул одну ногу и, завыв, как больная собака, сел на земле.

— Притворяйся! — крикнул грозно рыжий. Зазубрина метнулся на земле и быстро встал на ноги.

Потом, шатаясь, он направился к одной из стен тюрьмы. Одна рука у него была прижата к груди, другую он простирал вперед. Вот он уперся ею в стену и, став, наклонил свою голову к земле. Он кашлял...

Я видел, как на землю падали темные капли; отлично видно было, как они мелькали на сером фоне тюремной стены.

И, чтобы не запачкать своей кровью казенного здания.

Зазубрина всячески старался лить ее на землю так, чтоб ни одна капля ее не попала на стену.

Над ним смеялись...

Котенок исчез с той поры. И Зазубрина уже ни с кем не делил внимания обитателей тюрьмы

1897 год.

ЗРИТЕЛИ

Июльский день начался очень интересно — хоронили генерала. Ослепительно сияя, гудели медные трубы военного оркестра, маленький, ловкий солдатик, скосив в сторону зрителей кокетливые глаза, чудесно играл на корнета-пистоне, и под синим безоблачным небом похоронный марш звучал, точно гимн солнцу.

Гроб, покрытый венками, везли огромные вороные лошади, они били копытами по булыжнику мостовой, почти в такт гулким вздохам большого барабана. Медленно шагали солдаты, в белых рубашках, в ярко начищенных сапогах, новенькие, точно вчера сделанные для этих похорон; над их темными лицами сверкали лучи штыков. Раскаленная солнцем горела позолоченная медь пуговиц на мундирах офицерства, ордена на выпуклых грудях — точно цветы. За стройною массой белых солдат густо текла пе-
страя толпа горожан, кисейное облако пыли колебалось в воздухе, и всё было покрыто медным пением светлых труб.

2 Зазубрина

649307

Заслуженный работник культуры

детская библиотека

17



Обыватели Прядыльной улицы высунулись в окна, выскочили за ворота, повисли на заборах, жадно любуясь великолепным отъездом генерала в жизнь бесконечную. Они наслаждались даровым зрелищем в том настроении, которое всегда и невольно внушает наблюдающему за ними невеселую мысль о том, что все события мира совершаются для удовольствия бездельников.

Всё шло прекрасно, стройно и торжественно, вполне соответствуя праздничному ликованию июльского дня, и хотя хоронили человека, но в Прядыльной улице смерть была слишком привычным явлением, она не возбуждала ни грусти, ни страха, ни философических размышлений; бедные похороны не являлись зрелищем увлекательным, а только углубляли скуку жизни, эти же, генеральские, подняли на ноги всех людей, от подвалов до чердаков.

Всё шло прекрасно, но — вдруг откуда-то выскочил дико растрепанный дурачок «Игоша — Смерть в кармане», его растрепанная фигура испугала рыжую монументальную лошадь жандарма — лошадь метнулась в сторону, опрокинула даму в лиловом платье и, наступив железным копытом на ногу сироты Ключарева, раздавила ему пальцы.

Суматоха развеселила зрителей, особенно смешно было видеть, как лиловая дама, солидного купеческого сложения, шлепнулась в пыль, навзничь, и, запутавшись в пышных юбках, повизгивая, безуспешно пытаясь встать, дергала толстыми ногами. Она, видимо, сильно испугалась и ушиблась, ее большое лицо побелело, глаза болезненно выкатились. Конечно, смех зрителей был неуместен, жесток, но — уж так издревле ведется — смешон упавший ближний людям, для которых весь мир — только зрелище.

Но смех умолк, когда увидали, что сирота Ключарев ползет к забору, волоча за собою раздавленную ногу, а из нее в серенькую пыль улицы течет ручей ярко-алой крови.



— Больно, Коська?

Кровь имеет свойство привлекать особенно напряженное внимание вечных зрителей, они всегда смотрят на нее особенным, молчаливо-жадным взглядом — это у них тоже древнее пристрастие.

И вот, позабыв об усопшем генерале, о купчихе, поверженной во прах улицы, зрители живо сгруппировались тесным кругом около сироты, прижавшегося к забору, и, глядя, как он истекает кровью, как адова боль в раздавленных костях искажает его маленькое, посиневшее лицо, они спрашивали его:

— Больно, Коська?

Морщась, то подгибая, то вытягивая изуродованную ногу, мальчик бормочет:

— Ух... Вот те — и раз! Вот и пошел на богомоль...

Он храбрился, перемогаясь, а зрители предвещали ему:

— Задаст тебе Гуськов...

— Ах, ты, розиня чортова! Чего тебе хозяин сделает за это, а?

И кто-то замечательно разумно сказал:

— Брось перед ним в пыль копейку, сразу увидит, а лошадь — не видал, прохвост!

Мальчик обиженно возразил:

— Я — видел, да я упал, она ведь меня в живот лягнула...

Его окружили мальчишки, внимательно разглядывая окровавленную ногу; один из них — худенький, с голубыми глазами — кошачьим движением ноги забрасывал пылью темные, влажные пятна крови. Стараясь спрятать кровь, он робко оглядывался, точно ожидал, что его побьют за это. Его товарищи хвастливо вспоминали о своих ранах — о порезах, ссадинах, ушибах и других молодецких увечьях, которые они получили в играх, драках и от внимания старших.

Сердобольные люди советовали Ключареву:

- Присыпь землей ногу!
- Надо паутиной, а не землей.
- Паутина — это от пореза.

Подошел хозяин сироты, переплетчик Гуськов, прозванный Биллиардмастером, человек, небрежно и наскоро сшитый из неуклюжих костей и старой вытертой кожи, лысый, с прищуренными в даль глазами на пестром от веснушек лице, словно мухами засиженном.

— Так, — сказал он, спрятав руки за спину и глядя в забор над головою ученика. — Я тебя, сукин сын, куда послал? Я тебя за кожей послал, али нет?

— Дяденька! — со слезами воскликнул Коська, прикрывая руками голову.

Кто-то посоветовал переплетчику:

- Ты с него и сними кожу-то!

Но другой зритель заметил:

- Не годится, тонка!

— Ну, что ж мне теперь делать с тобой? — вслух соображал Гуськов, задумчиво растирая волосатой рукой веснушки на щеке. — На что ты мне без ноги?

— Дяденька! — слезно взмолился сирота. — Я завтра выздоровлею...

- Давай деньги!

Коська извлек из кармана штанов смятую зеленую бумажку.

— Жевал ты ее, дьяволенок? — спросил переплетчик, расправляя бумажку, покачнулся, вонзил свое длинное тело в толпу зрителей и исчез.

Старушка Смурьгина, моя квартирная хозяйка, торговка семечками и пряниками, громко вздохнула:

- Вот они, хозяева-то!

Трусов, скорняк, человек серьезный и благочестивый, оборвал ее:

- А ты — помалкивай, старая халява!

Буян, пес Трусова, такой же солидный, как его хозяин, понюхал окровавленную ногу мальчика, поднял свой толстый хвост, оскалив зубы, задумался.

— Гляди, не цапнул бы он! — предупредил некий зритель толпу.

— Пшел!

Пса прогнали. Похоронная процессия уплыла за угол улицы, оттуда доносилась сухая дробь барабанов. Пыль улеглась. Кругленькое личико ребенка было измазано кровью, мокрые от слез, вылинявшие от боли глаза его уныло смотрели на изуродованную ногу, он трогал пальцами руки раздавленные косточки и, вздрагивая, шмыгал носом.

— В четверг, — бормотал он, — я бы на богомолье ушел, на Баранов ключ... Отпускал хозяин-то... Ах, ты, господи...

— Завязать бы надо ногу-то, — посоветовала старушка Смурыгина и ушла.

Сирота, цапаясь за доски забора, попробовал встать на ноги, но, вскрикнув и схватившись за живот, упал.

— Ишь, как! — сочувственно заметил один из толпы, а мальчик выл:

— Что я буду делать?

— Хромать будешь, — утешили его.

Становилось скучно. Первыми разбежались мальчишки, потом, один за другим, разошлись взрослые зрители, улица опустела, оголилась — Ключарев остался у забора один, маленькой кучкой пыльного тряпья.

На мостовую слетелись воробьи, голуби, со дворов вышли, кудахтая, наседки и важные петухи, в домах застучали молотки жестянников, забарабанили тонкие палочки скорняков, сапожник Дрягин, солдат на деревянной ноге, угрожающим басом запел единственную песню, знакомую ему:

— В семьдесят семом году
Объявил турок войну
На Рассиюшку на всю,
На матушку на Москву...

Скука стала гуще, тяжелее.

Я наблюдал и слушал все это из окна подвала, из темной норы, где жила старушка Смурьгина. Утром, накануне этого дня, работая на пристани, я упал в трюм, вывихнул себе правую руку и разбил колено. Всю ночь не спал от боли, а теперь, сидя на подоконнике, смотрел на похороны, на зрителей и на сироту Ключарева — он лежал на другой стороне улицы, как раз против моего окна.

Когда зрители разошлись, я крикнул ему:

— Костя, ползи сюда!

Он сумрачно оглянулся, увидал мою голову над землей и, сморщившись, ответил:

— Больно — смерть как!

— Не можешь?

Он наклонился вперед и, упираясь руками в землю, попробовал ползти, но тотчас со стоном свалился на бок. Поплакал минуту, потом сказал, размазав слезы по лицу:

— Живот она мне... В больницу бы меня...

— Городового нет на углу?

— Городовой на кладбище ушел...

Он замолчал, подергиваясь.

Чьи-то толстые ноги в рыжих истоптанных сапогах поровнялись с моим окном, я крикнул:

— Эй!

Ноги остановились, ко мне молча наклонилось большое лицо в бороде из овчины.

— Мальчонка-то в больницу надо свезти.

— Ну? Вези!

— Не могу, сам болен.

— А я не с этой улицы...

Человек влажно закашлялся и ушел. Следующий обыватель отнесся к моему предложению несколько иначе — он подошел к мальчику и напутственно сказал:

— Добаловался, подлец? Тебя не в больницу надо, а в пруд, кудадохлых кошек кидают.

И, в сознании исполненного долга, не торопясь, исчез.

Было уже около полудня, июльская жара сгущалась; под прямыми лучами солнца трещал тес крыш, воробьи и голуби прятались в тень, а мальчик лежал на солнечной стороне, на припеке, и, ярко облитый зноем, становился всё серее. Вытянув раздавленную ногу, подогнув здоровую, он плотно прижался к забору, перекладывал голову с ладони на ладонь и бормотал, как в бреду.

— Ты что, Костя?

— Так.

Но помолчав, жалобно сказал:

— Когда Мишке Третьему кирпичом разбило палец на ноге, так он уж через день ходил. На пятке, а — ходил все-таки...

— И ты пойдешь...

Раза два он попробовал подняться, его маленькие пальчики втыкались в щели забора, но руки бессильно падали. Мне казалось, что я вижу, как распухает его нога, — вся ступня у него какая-то рыжая, точно кусок ржавого железа.

Он попросил пить, но улица была пустынна, даже дети куда-то попрятались от жары. Со дворов, из окон непрерывно истекал скучный, слишком знакомый шум трудового дня. Редкие прохожие солнечной стороны не обращали внимания на мальчика, думая, видимо, что он спит; к моим окрикам они относились равнодушно, считая их озорством бездельника. Те, которые шли моей стороной, тоже не внимали мне — большинство, очевидно, было «не

с этой улицы», а остальные — слишком заняты своими делами. А мальчик всё жарился на солнце.

Мне тоже было не очень хорошо, мучила боль в плече и колене, и невыразимо терзало сознание бессилия. Так странно: в пятнадцати шагах от меня лежит человек, нуждаясь в немедленной помощи, мимо него ходят подобные ему и — не хотят помочь. Не хотят...

Несколько сотен людей живет в улице, все дома тесно набиты ими, над моей головой неумолчно возятся переплетчики, вся улица предо мною засорена признаками обилия людей. А я чувствую себя в пустыне и, несмотря на душную жару, в сердце у меня злой, раздражающий холод.

Маленький замызганный солдатик с медной кастрюлей в руке остановился около Ключарева, подробно расспросил его — что с ним случилось, сколько лет мальчику, кто и где его родители, посоветовал приложить к ноге лист лопуха и ушел, обещая мне:

— Я бутаря пришлю — он расстареется, это его дело!

Но, должно быть, он не нашел бутаря, а солнце накаливало улицу всё сильнее, мальчик лежал неподвижно и тихонько стонал.

Тощий боровок остановился у моего окна, похрюкал и, точно получив от меня спешное поручение, убежал, встряхивая ушами, повизгивая.

Проехал водовоз, расплескивая воду из бочки, покрытой мокрым мешком, я попросил его дать мальчику воды, но он ни слова не ответил, сидя на бочке деревянным идиолом.

Тогда я сердито, не щадя голоса, стал звать на помощь — это подействовало: за ворота выбежали люди, спрашивая друг друга:

— Кто орет? Где это?

Перед моим окном присел молодой скорняк с папиросой в зубах.

— Ты чего орешь?

Я объяснил, а он, выслушав меня, сообщил публике:

— Это Смурьгиной постоялец, крючник, видно — пьяный лается: чего, говорит, мальчишку не свезете в больницу!

— А ему какое дело?

— Пьяный...

Сначала они говорили добродушно, но узнав причину крика — рассердились. Скорняк развеселил их, он незаметно для меня подошел сбоку и высыпал мне на голову пригоршню пыли, это очень рассмешило зрителей.

Сдержав желание изругать их, я начал убедительно доказывать, что нельзя бросать людей на улице, как собак, и что каждый человек, даже маленький, заслуживает со-
страдания.

— Верно говорит! — согласился со мной некто невидимый.

— Верно? Так сам бы и сбегал за полицией.

— Больной он, видишь ты!

— Больной, а — орет!

— В сам деле, надо убрать мальчонка, а то придет полиция, потащит нас в свидетели...

— Против лошади — какой же свидетель?

— Тут — жандар!

— И против жандара — не полагается...

Я мотал головой, стряхивая пыль, и вдруг меня мягко ушибла струя холодной воды — это скорняк, увлеченный успехом шутки своей, вылил на голову мне целое ведро. Снова грянул смех.

— Ловко-о!

— Глядите, как осердился!



Скорняк вылил на голову мне целое ведро...

— Ой, батюшки...

Я крепко обругал веселых зрителей, это не обидело их, а кто-то примирительно заметил:

— Чего тывкаешь? Тебя не помоями облили, а чистой водой...

Это меня не утешило, ругаясь, я продолжал убеждать их:

— Черти клетчатые — ведь вы же понимаете, что мальчонку надо в больницу свезти? Ведь антонов огонь может прикинуться!

Мне возражали:

— Ну — понимаем! А ты что за начальство? Морда!

И снова кто-то, незаметно подкравшись, высыпал на мою мокрую голову горсть пыли, и снова все смеялись весело, как дети, притоптывая, всплескивая руками, а я сполз с подоконника и свалился на койку, чувствуя себя раздавленным шутками.

За окном говорили, успокаиваясь:

— Горяч больно!

— Из пожарной бы кишки полить его...

— Кто бы свел мальчонку в участок?

— В аптеку?

— И то! Положить на крыльце, а уж аптекарь распорядится.

— Эй, Коська, вставай! Можешь итти?

— Обмер...

— Надо нести его.

— Это тебе, Саша, надо!

— Отчего — мне?

— Там кабак рядом...

Засмеялись.

— Ну, ладно, я снесу, — согласился Саша и заговорил ласково:

— Эх, ты, кусок... Ну, ничего, не пищи! То-то вот, --

озоруете вы, материны дети, а я возись с вами ни за что, ни про что...

Словно он каждый день таскал в аптеки изуродованных мальчиков.

Зрители разошлись, и снова на улице стало тихо, точно на дне глубокого оврага.

Воскресный вечер. Красноватые отсветы блестят на стеклах окон единственного дома, видного мне из подвала. Дом — в два окна, старенький, осевший к земле, он похож на нищего, который утомленно присел между двух растрепанных заборов. На лице его застыло сердитое уныние.

По улице бегают дети, поднимая облака розовой пыли; где-то близко играют на гармонике, рычит пьяный ломовой извозчик, костлявый великан, по прозвищу Сухеный Бык.

Примостившись на подоконнике, я слушаю чью-то ленивую речь:

— От запоя молятся ему потому, что он сам пьяница был...

— Ну-у, — недоверчиво тянет другой голос, — это не резон для святости; эдак у нас половина улицы святых...

Первый голос сердито прерывает невера:

— А ты — слушай! Идет он, пьяненький, рано утречком домой, а солдаты христианам головы рубят...

— Чьи солдаты?

— Ихние...

Голоса звучат тягуче, в каждом слове чувствуется клейкая русская ленца. И солнце заходит лениво, как будто ему известно, что завтра оно будет светить тем же людям, услышит те же речи.

Маленькая девочка идет мимо моего окна и, отирая слезы, шепчет громко:

— Ведьма... погоди!

— Рубят, значит. Поглядел Вонифантий, поглядел, а был он доброй души человек, хотя и богач...

— Что ж, и между богачами добряки есть, примерно — Троеруков, Петр Иванов...

Какая-то женщина просит:

— А ты не перебива-ай!

— Я — к слову.

— Да. Поглядел, да и говорит: ах, вы, говорит, такой-сякой народ! За что вы этих избиваете насмерть! Я, говорит, сам во Христа верую! Тут его сейчас схватили и — р-раз! — тоже голову напрочь. А он преспокойно взял ее за волосья, положил подмышку себе и пошел по улице, и пошел!

— Т-та? Пошел?..

— Так и в житии написано?

— А то сам, что ли, я придумал!

— Н-да! Эдак — не выдумать. Ах, ты, боже мой! Поглядеть бы раз в жизни на эдакое чудо, а то — живешь, живешь...

Рассказчик продолжает:

— Тут солдаты эти и все зрители, испугавшись до смерти, бросились бежать кто куда, и тоже уверовали!..

— Уверуешь!

— А он идет и поет — Христос воскрес!

— В нашу бы пору что-нибудь эдакое...

— Наша пора — что? Слава те, господи! А тогда — чихнул не так — башку долой! Строгость была.

— Человек — ни по чем, дешевле дров...

— Дай-кошь покурить...

Замолчали. Над криками детей грянул бас Сушеного Быка:

— И я те дам пудовку в маковку!

За моим окном снова начинается беседа; знатока римской жизни спрашивают:

— А как тогда — богаче жили люди?

— Ровнее. Особенных богачей не было, ну, и бедность не позволялась.

— Не позволялась? Как же это?

— Такой закон был.

— Умный народ...

Женщина спрашивает:

— А сказывается — христиане бедные были?

— Это — после.

— После чего?

— После турецкого разорения. Как турки Царь-Град забрали, тут пошло разорение... разорился весь народ и принял нашу веру...

— Ага! Так-так-так...

Веселый женский голос крикнул:

— Глядите-ко, — кого это Гушин везет?

По улице шагала пегая лошадь, влача за собой разбитую телегу, на телеге сидел пьяненький ломовик Гушин, весело помахивая вожжами, спиной к нему торчал полицейский, а между ними помещался тесовый, окрашенный охрой небольшой гроб.

— Гушин, кого везешь? — спросил голос, рассказывавший о мученике Вонифатии.

Старичок-извозчик охотно отозвался:

— Вашего... этого — сиротку...

— Коську?

— Его.

— Неужели — помер?

— А как же? Живого не схороним, не бойсь!

Телега проехала. Откуда-то выскочил Буян, понюхал землю, фыркнул и, поджав хвост, скрылся в щель забора. Мальчишка кричал:

— Братцы, это Коську Ключарева хоронют!..

— Н-да-а, — говорили у ворот, — помер, значит, маль-
чонко...

— А ведь смирный был!..

— Больница!..

— Туда — только попади, а уж на кладбище они сами
отвезут...

— Дешевы люди...

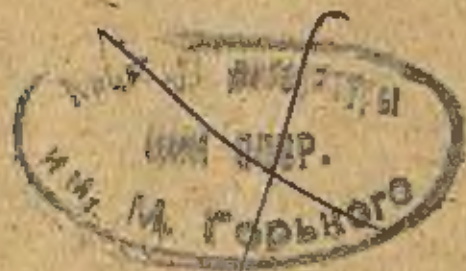
— Им что, докторам? Им бы жалованье в срок полу-
чить...

И снова раздался мерный голос:

— А то еще есть житие Кирика-Улиты...

Солнце скрылось, красные отсветы в стеклах поблекли,
и потемнела бесконечная голубая печаль небес.

1917 год.



Редактор А. ГОЛЬДБЕРГ. Художеств. редактор В. ПАХОМОВ. Техн. редактор И. БЕККЕР.
Корректоры Е. ВИЛЬТЕР и О. КОВАЛЕВСКАЯ. Сдано в производство 15/V 1937 г.
Подписано к печати 4/VI 1937 г. Формат 84х118¹/₂ мм. 2¹/₄ п. л. (1,5 уч. ав. л.). Детиздат № 1362.
Индекс Д-7. Уполномоченный Главлита Б-21407. Заказ 687. Тираж 100 300.

Фабрика детской книги изд-ва детской литературы ЦК ВЛКСМ. Москва, Сушенский
вал, 49.

1002

Цена ~~50~~ коп.

М6656

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО КОМУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ГОРЬКОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ
АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО

- | | |
|--|---|
| 1. Макар Чудра. | 6. Дружки. |
| 2. Дед Архип
и Ленька. | 7. 9 января. |
| 3. Челкаш. | 8. Сказки об Италии. |
| 4. Песня о Соколе.
Песня о Буре-
вестнике. | 9. Как сложили пе-
сню. Неудавший-
ся писатель. Про-
водник. |
| 5. Зазубрина.
Зрители. | 10. Дети. |